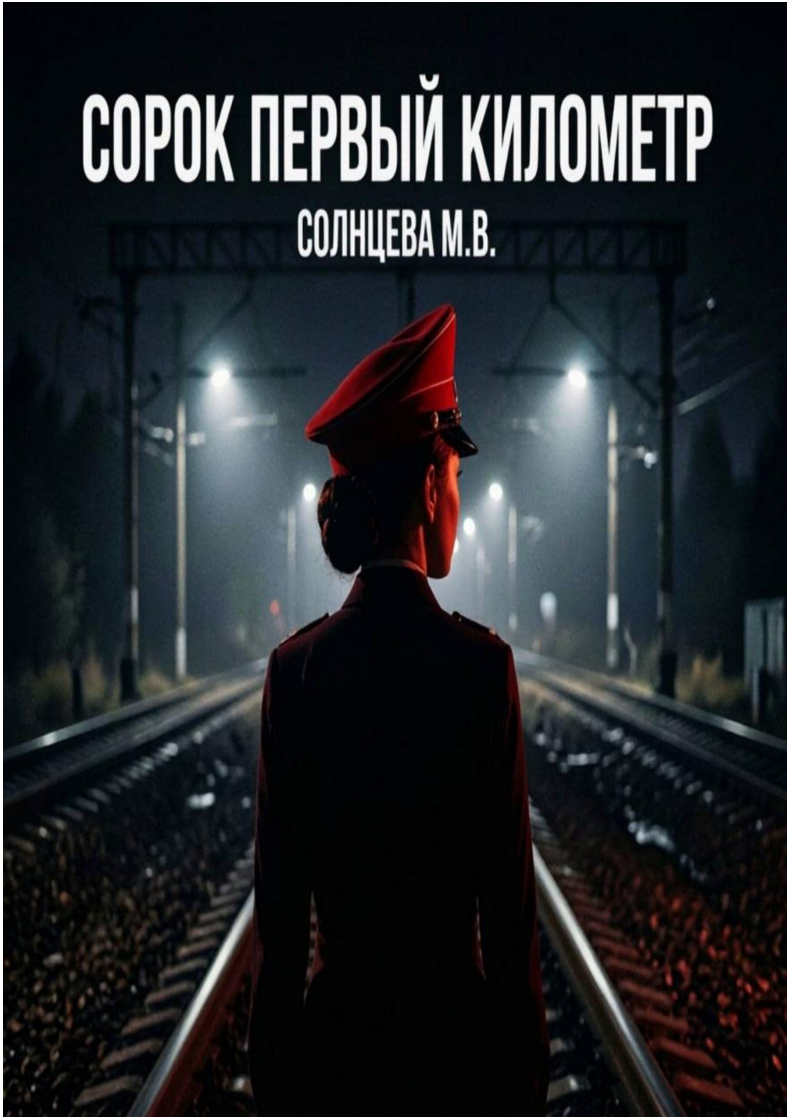
СОРОК ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР

СОЛНЦЕВА М.В.



Маргарита Солнцева
Сорок первый километр

https://litres.ru/74897132
SelfPub; 2026

Аннотация

Мастера дистанции нашли под откосом у сорок первого километра — за два часа до того, как по этому пути должен был пройти первый поезд. Дежурная по переезду Нина Дробыш знает по своей книге приёма-сдачи: в ту ночь на этом километре не было ни одного поезда. Значит, по путям шло что-то, чего в графике нет.

Содержание

Сюжет 4
Глава первая. Книга приёма-сдачи 5
Глава вторая. Два жёлтых огня 18
Глава третья. Осень, говорит участковый 27
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Маргарита Солнцева
Сорок первый километр

Сюжет

Мастера дистанции нашли под откосом у сорок первого километра — за два часа до того, как по этому пути должен был пройти первый поезд. Дежурная по переезду Нина Дробыш знает по своей книге приёма-сдачи: в ту ночь на этом километре не было ни одного поезда. Значит, по путям шло что-то, чего в графике нет.

Главные герои: Нина Дробыш, двадцать шесть лет, дежурная по переезду, бывшая учительница, вернувшаяся в посёлок из-за матери; Пётр Ильич Веретенников, старший мастер дистанции, тридцать четыре года на одном участке; Роман Гурьев, тридцать четыре, ведущий инженер дистанции; начальник дистанции Кузьмин; дорожный мастер Селиванов; стрелочница Клава Пяткина.

Глава первая. Книга приёма-сдачи

Переезд на сорок первом километре закрывался в двадцать три сорок, и это было единственное точное время в посёлке, которому верили все: даже магазин в соседнем разъезде закрывали «как переезд».

Нина пришла на смену за пятнадцать минут — так велел Веретенников, — и первым делом проверила не шлагбаум, а книгу. Книга приёма-сдачи лежала в будке, в железном ящике, под брезентом, и была толще любой другой книги в посёлке: сорок лет, две смены в сутки, каждый поезд с точностью до минуты, и в каждой строке фамилия того, кто сдал, и того, кто принял.

— Пиши, как было, а не как надо, — говорил Веретенников, когда ещё заходил на переезд, — и за книгу получишь врага. Пиши, как надо, и за тебя напишут акт.

Он был не прав ровно наполовину, но Нина ещё ни разу не пожалела.

Нина пришла на переезд полтора года назад, в июле, и пришла не потому, что хотела, а потому, что в посёлке не было другой работы, которую можно бросить за пять минут, если матери станет хуже.

До этого она четыре года преподавала русский в райцентре, в школе номер два, и у неё были восьмые классы, которых она боялась меньше, чем кабинета завуча. Потом позво-

нила соседка и сказала: «Твоя лежит». Нина приехала в тот же вечер, вызвала скорую, просидела в коридоре больницы до четырёх утра, и когда врач вышел и сказал «жить будет, говорить — вряд ли», она ощутила не горе, а странное, стыдное облегчение: мать перестала говорить как раз тогда, когда говорить с ней стало не о чем.

Она уволилась по собственному, забрала документы и осталась. В поселке таких, как она, называли «вернувшиеся», и говорили это без зла — просто отмечали факт, как отмечают в книге, что поезд прошёл одиночным локомотивом.

На переезд её взяли по телефонному звонку: Веретенников позвонил сам, вечером, и спросил только одно:

— Читать по слогам умеешь? — И, не дожидаясь ответа: — Приходи в шесть. Смена двенадцать часов, будка холодная, зарплата маленькая. Но книга тёплая.

Книгу она впервые увидела в его руках. Он принёс её на переезд, положил на стол и раскрыл на середине, и Нина увидела ровные столбцы: время, номер поезда, вес, примечание. Ни одной помарки на четыреста страниц. Ни одной ошибки.

— Её ведут с пятьдесят четвёртого года, — сказал Веретенников. — Здесь каждая смена. Здесь люди, которых уже нет, и поезда, которых уже нет, и время, которое было. Ты будешь думать, что это бумажки для проверки. Это не бумажки. — Он закрыл книгу, и обложка стукнула, как стучат по столу, когда ставят точку. — Когда-нибудь по ней будут искать, кто виноват. И найдут не того, кто виноват, а того,

кто писал.

Первое, что Нина поняла на этой работе, — что переезд не про поезда.

Переезд про то, что через пути ходят люди, которые торопятся, и что торопящийся человек не видит ни шлагбаума, ни света, ни тебя. За первую неделю она насчитала одиннадцать человек, пролезших под опущенный шлагбаум. На третьей неделе она перестала считать и начала говорить. Говорила она не как учительница, а как человек, у которого есть тридцать секунд: коротко, в лицо, без «пожалуйста».

— Стой. Стой! Не лезь, я тебе говорю. Поезд идёт.

Один раз её ударили. Мужчина лет пятидесяти, в тулупе, с сумкой, шёл напрямик, Нина взяла его за рукав, и он сбросил её руку так, что она оступилась и упала локтем в наледь. Поезд прошёл через восемь секунд после этого — грузовой, длинный, и ветер от него отбросил её ещё на шаг.

Она тогда села в будку, заперлась, достала книгу и записала: «Двадцать два тринадцать. Пассажир, мужчина, около пятидесяти, в тулупе, перешёл через путь при опущенном шлагбауме. Замечанием остановлен не был». И сидела над этой строкой минут двадцать, потому что не знала, как записать то, что она на самом деле чувствовала, а записать это в книгу приёма-сдачи было нельзя.

Веретенников наутро прочитал, ничего не сказал, а потом, перед уходом, обернулся и сказал:

— Ты записала не то, что тебе хотелось. Это правильно.

Здесь пишут не то, что хочется, а то, что было. — Помолчал. — А что тебе хотелось записать?

— Что я его ненавижу, — сказала Нина.

— Это тоже было, — согласился он. — Только это невозможно проверить. А «при опущенном шлагбауме» — можно.

Он вообще много говорил про то, что можно проверить. В его мире всё делилось на проверяемое и на то, что к делу не относится. Проверяемое — время, номер, вес, фамилия, след. Не относящееся — всё остальное: почему человек пошёл через путь, почему дежурный по станции передал не то, что было, почему у Кузьмина в дистанции за год ни одного происшествия.

— Всё, что не записано, — говорил Веретенников, — потом можно повернуть как угодно. А записанное повернуть нельзя. Оно есть и стоит.

Так Нина и работала. И за полтора года у неё не было ни одной ошибки в записи, потому что она писала медленно, а пока писала — то есть по две-три минуты на строку, — успевала вспомнить всё: и время, и как стоял шлагбаум, и откуда шёл ветер.

Один раз она всё-таки ошиблась — не потому, что не помнила, а потому, что хотела как лучше.

В октябре прошлого года через переезд должен был пройти пассажирский на двадцать минут позже графика. Дежурный по станции сказал: «Пиши по графику, он не опоздал,

он шёл по нитке». Нина знала, что он опоздал, но написала по графику, потому что дежурному виднее и потому что за опоздание, как говорили в дистанции, «прилетает всем».

Веретенников увидел это через неделю. Он не устроил ей разгона. Он присел на табурет напротив, положил на стол свою книгу и сказал:

— Зачем?

— Мне так передали.

— Тебе передали, что он опоздал?

— Мне передали, что его не было. — Нина тогда впервые услышала, как это звучит вслух. — То есть он был, но его не было в графике. Если я напишу опоздание, придётся писать причину.

— Придётся, — сказал он. — Это и есть наша работа. Мы здесь для того, чтобы записывать, почему поезда идут не так, как должны, а не для того, чтобы делать вид, что они идут так, как должны.

Он встал, надел шапку и уже у двери добавил:

— Запомни: кто первый написал время, тот и прав. Кто написал вторым — тот подгоняет.

Нина потом не раз думала: если бы она тогда, в октябре, записала по совести, а не по графику, — сколько всего перестало бы существовать? Тех проверок, тех встреч, тех телефонограмм, тех бумаг, которые потом легли в дело. Она не находила ответа, потому что нельзя найти ответ на вопрос, где всё дело в одной строке.

А сегодня ночью ей предстояло написать такую строку, и она это поняла заранее — ещё до того, как вошла в будку и открыла железный ящик.

Книга лежала под брезентом, как всегда. Нина вытерла руки о тулуп, чтобы не оставить на странице сырости, и перевернула последний лист: вчерашняя смена, подпись Тома, сданного приёма двенадцать, замечание одно — «на третьем ходу стойка шлагбаума примерзает». Нина взяла ручку, подвинула к себе казённую железную линейку — такую же, какая была у Веретенникова, с облезлой краской на делениях, — и открыла чистый разворот.

Сначала всё шло правильно. Первые сорок минут смены были такими, какими им полагалось быть: расчёт на двадцать три ноль-ноль, запись, проверка шлагбаума, запись, обход.

Потом в будке стало как-то слишком тихо, и Нина, стоя с ручкой в руке, впервые за полтора года ощутила то, о чём ей однажды сказал Веретенников и что она тогда не приняла всерьёз:

— Самое опасное на переезде — не поезд. Самое опасное — тишина, в которой что-то уже пошло без тебя.

В двадцать три тридцать она подняла шлагбаум, потому что поезд «Кемь — Кемь-товарная» прошёл мимо, не останавливаясь, и от него на переезде остался запах железа и снега, а в книге — строка: 23:31, товарный, одиночный локомотив, проследовал.

В двадцать три пятьдесят позвонил дежурный по станции и сказал, что в сорок минут после полуночи будет «хозяйственный», то есть путевая машина, и что она пойдёт на сорок первый километр.

— На ночь глядя? — спросила Нина.

— Проверка пути, — сказал дежурный. — Сварку варить будут.

— В метель?

Дежурный помолчал и сказал:

— Мне так передали.

Она записала звонок в книгу, как полагалось: время, кто звонил, что передал. Потом вышла из будки и посмотрела в сторону километра. Там ничего не было видно, кроме снега, идущего почти горизонтально.

Метель началась в четыре часа дня и к одиннадцати стала такой, что на другой стороне переезда не читался свет фар, а читалось только жёлтое пятно.

В двадцать три пятьдесят пять через переезд прошёл Серёга Лебедев на своей «шестёрке», у которого мать в райцентре лежала, и сказал через окно: на сорок первом что-то стоит, вроде машина, а вроде нет.

— Машина?

— Что-то чёрное, — сказал Серёга. — Без света. Я не поехал смотреть, у меня мать.

Нина могла бы позвонить по диспетчерской связи. Она и хотела позвонить. Но в диспетчерской в ночь сидела Тома, у

которой год назад умер муж, и Тома отвечала на звонки голосом, от которого хотелось положить трубку и больше никогда не звонить.

Про диспетчерскую в поселке говорили: «Там сидят две женщины и одна из них всегда обижена».

Тома сидела в ночь с той зимы, когда у неё умер муж, и с тех пор голос у неё стал такой, будто каждое слово она достаёт откуда-то из-под воды. Она не хамила. Она отвечала на всё, и отвечала правильно, — но после разговора с ней хотелось выйти на улицу и подышать.

Нина один раз, в сентябре, позвонила ей по делу — уточнить, будет ли на третьем ходу ремонт, — и Тома сказала: «Ремонта на третьем ходу не планируется», — а потом помолчала и добавила: «А вы всё одна?», — и этот вопрос был хуже любого хамства, потому что после него надо было либо проявить сочувствие, либо соврать.

Нина тогда соврала: сказала «не одна», хотя была одна.

С тех пор она в диспетчерскую при обычном не звонила, а ждала, пока дежурный по станции позвонит сам, и это было не глупостью, а способом дожить до утра.

Порядок на транспорте, если смотреть издалека, устроен просто: есть люди на путях, есть люди в диспетчерских, и между ними всякая связь идёт нарочно, по правилам, с записью. Так на каждую нужду и на каждый испуг полагается своя форма разговора. На переезде телефон стоял на полке, рядом с книгой, и он звонил так, что Нина за полтора года

научилась узнавать звонящего по первым двум секундам.

Дежурный по станции звонил ровно, стандартно, сначала «здравствуйте, третья», — причём и голос, и порядок, и пауза после «здравствуйте» были всегда одинаковыми.

Мастер дистанции Селиванов звонил коротко и без времени суток, просто «это я, скажи», и тут важно было отвечать сразу, потому что он молчал ровно до того места, где начинало быть невыгодно.

Гурьев звонил иначе: сначала молчал в трубку две-три секунды, будто проверял, работает ли запись на его стороне.

Клава Пяткина со стрелочного поста звонила по всякому поводу и без повода, и, если честно, Клава была единственным человеком в дистанции, с которым Нина разговаривала просто так.

А в район Нина звонила три раза за полтора года, и все три раза — по ерунде, из тех, что кажутся ерундой, пока не увидишь, как выглядит человек, объясняющий, почему непременно нужно, чтобы приехал кто-нибудь с бумагой.

Она потому и запомнила, куда звонить. Участковый, который два года назад нашёл в кювете сбитого велосипедиста, был, по общему мнению посёлка, человеком странным: он не писал «неустановленный автомобиль», а ездил, находил и потом сам был не рад. В книге приёма-сдачи есть отметка от двадцать девятого августа, сделанная как раз его рукой: «Прошу записать время обнаружения 04:12, выехал повторно, в лесополосе след от протектора, размер 205». Потом бы-

ла ещё одна отметка, от одиннадцатого марта: «Благодарю за книгу, приобщаю копию к делу». Ни одна строка в этой книге не была написана так похоже на человека, как эта.

Мать Нины лежала в двух комнатах отсюда, за поворотом, в доме с зелёными наличниками, и в эту ночь должна была спать под двумя одеялами, потому что в доме не топили на ночь.

Всё это Нина держала в голове, пока стояла в будке и смотрела в окно на метель.

Есть вещи, которые в поселке знают все и никто не говорит, и одна из них такая: в ночную смену человек на переезде не один, даже когда он один. За его спиной — книга. Впереди — график, и если через переезд идёт поезд, который в графике есть, то всё в порядке, даже если поезд идёт с опозданием: главное, чтобы его номер был в книге раньше, чем он пройдёт.

А если через путь идёт поезд, которого в графике нет? Тогда его нет, но он едет, его пытаются включать в записи задним числом, чтобы документы сошлись, а потом из этой попытки не сойтись и получается то, что получается.

В законах такая ситуация описана подробно — кажется, даже отдельным пунктом. В реальности положено вот что: дежурная по переезду обязана записать точно, немедленно и без оценок. Всё остальное — не её дело. Всё остальное делает тот, кто скажет ей, что делать.

Она надевала тулуп, и в голове у неё, вперемешку с делом,

шли совсем другие мысли — те, которые всегда приходят, когда человек собирается выйти на мороз и знает, что вернётся не скоро. Что завтра надо позвонить в аптеку, потому что таблеток осталось на четыре дня. Что матери в доме надо бы поправить одеяло, и что соседка Зоя Фёдоровна заходит в девять, а значит, поправит. Что Серёге Лебедеву ехать в райцентр по такой дороге — это тоже, если разобраться, риск, и что про это ему никто не скажет, потому что ему тридцать лет и он всё знает сам.

Она застёгивалась, стоя к окну спиной, и снег за окном шёл уже ровной стеной, ничего не различая.

Последней ясной и законченной мыслью в ту ночь была про примету: перед плохими событиями в поселке гаснет свет на столбе за скотным двором, потому что провод старый, а ветер северный. Свет этой ночью не гас. Это было единственное, что могло считаться хорошей приметой, и её хватило на час.

А мыслью последней — уже за дверью — была другая, совсем простая: что Веретенников за тридцать четыре года ни разу не ушёл на пути ночью один, и что про это надо было подумать раньше.

Нина надела тулуп, взяла фонарь и пошла по шпалам, считая метки, потому что в метель это единственное, чем можно мерить расстояние.

Двести метров по шпалам — это ровно четыреста тридцать шагов по её походке, и она дошла до первого ориентира:

столбик с цифрой «41», наполовину заметённый, у которого Веретенников прошлой осенью поправил краску и сказал, что этот столбик старше самой дороги.

Он лежал возле столбика.

Она узнала его по шапке, старой, с кожаным верхом, которую он носил тридцать лет и про которую говорил, что она держит голову в тепле, «как жена, которой нет».

Он лежал на левом боку, рукой вперёд, как будто тянулся к чему-то, до чего не дотянулся, и снегу на нём было столько, что его намело уже после.

Она опустилась на колени, взяла его за руку — рука была твёрдая и не живая уже часа два, — и в этот момент фонарь осветил землю рядом.

В снегу лежал путевой ключ. Не гаечный, не железнодорожный, не тот, которым отпирают замок на стрелке, а обычный путевой ключ обходчика, тяжёлый, с головкой на конце, и на его рукояти была смазка: не машинное масло, а густое, тёмное, с запахом, который Нина знала с детства, потому что им смазывали не механизмы, а именно её — «пушечное сало», зимняя смазка для стрелок.

Его держали на участке в жестянке. Жестянка стояла в кладовой у Романа Гурьева, потому что Роман заказывал её по новой норме и любил, чтобы всё было «по новой норме».

Нина выпрямилась и посмотрела вдоль пути в сторону сорок второго километра. Там, на выходе, горели два жёлтых огня, как будто кто-то стоял с двумя фонарями и ждал.

Она вернулась на переезд и позвонила не в диспетчерскую, а в район: в дежурную часть, где сидел человек, который два года назад нашёл в кювете сбитого велосипедиста и не написал «неустановленный автомобиль», а нашёл автомобиль.

Потом она села и записала в книгу приёма-сдачи под двадцать три пятьдесят пять:

«Обнаружен Веретенников П. И., мастер дистанции, у столбика 41 км, без признаков жизни. Рядом — путевой ключ с зимней смазкой. Следов поезда нет. Следы — одна пара валенок, размер примерно сорок три, идут от дороги и обратно».

Рука у неё не дрожала. Дрожала только правая, которой она держала линейку, чтобы провести черту под последней строкой.

Глава вторая. Два жёлтых огня

Оперативная группа приехала в час сорок, и Нина узнала об этом раньше, чем увидела: за переездом, на подъёме, машина буксовала в снегу, и звук был такой, будто кто-то большой и пьяный пытается войти в чужой дом.

Она вышла на крыльцо будки с фонарём, чтобы их не искали, и стояла так, пока из белого не выехала «буханка», вся облепленная снегом, с мигалкой, которая не мигала, а горела.

Первым из машины вышел человек в тулупе поверх пальто и в валенках, и Нина по валенкам поняла, что он местный, а по пальто — что он из района.

— Астахов, участковый, — сказал он. — Ты кто?

— Дробыш. Дежурная по переезду. Я вызывала.

— Ты вызывала в дежурную часть, а приехали мы, — сказал Астахов и посмотрел на неё так, как смотрят на человека, который нажал не ту кнопку.

Вторым вышел мужчина в куртке, с папкой под мышкой, и сразу спросил:

— Где?

— Двести метров по шпалам, — сказала Нина. — У столбика. Я вас провожу.

— Сами дойдём, — сказал он. — Показывайте.

Он шёл быстро, не глядя под ноги, как ходят люди, кото-

рые привыкли ходить по снегу и знают, что снег их держит.

Его фамилия была Игнатьев, и Нина узнала её только к трём часам, когда он достал удостоверение, чтобы Астахов пропустил эксперта за ограждение.

Эксперт была женщина, в пуховике, с чемоданом на колёсах, и колёса в снегу не ехали, поэтому она несла чемодан в руке и дышала так, как дышат люди, которые курят и жалеют об этом.

— Кабанова, — сказала она. — Где тело?

Тело лежало там же, где его оставила Нина, и снег на нём за два часа стал ровным, как на сугробе.

Кабанова поставила чемодан, раскрыла, достала лампу на аккумуляторе, включила её и присела.

Дальше было тихо минут десять. Только ветер и то, как скрипит снег под её коленями.

— Так, — сказала она наконец. — Его ударили.

Астахов, стоявший в трёх шагах, сказал:

— Может, упал?

— Упал — это когда лицом, — сказала Кабанова, не оборачиваясь. — Или когда руки вперёд. У него руки в стороны, лицо вниз, а по затылку — вмятина, одна, с ровным краем. Тяжёлое, плоское, с гранью. И крови почти нет, потому что шапка, а шапка целая. Он не падал, его положили.

— Чем?

— Вот этим, — сказала Кабанова и посветила на снег рядом.

Путевой ключ лежал там, где его в первый раз увидела Нина: тяжёлый, с головкой на конце, в тёмной смазке.

— Один удар? — спросил Игнатьев.

— Один, — сказала Кабанова. — Он не успел ничего. И, судя по тому, что лежит он на спине, а не на животе, его перевернули. Или перекатили.

Игнатьев записал что-то в блокнот, потом обернулся к Нине.

— Дробыш. Вы когда его нашли?

— В двадцать три пятьдесят пять, — сказала Нина. — Ну, как нашли. Я шла к нему, потому что Серёга Лебедев сказал, что у столбика что-то стоит чёрное. Я записала это в книгу в двадцать три пятьдесят пять.

— А до этого?

— До этого — смена. В двадцать три тридцать шлагбаум, в двадцать три пятьдесят звонок дежурного, в двадцать три пятьдесят пять — запись. И в ноль сорок по книге должен был пройти хозяйственный.

— Какой хозяйственный?

— Путевая машина, — сказала Нина. — Мне передали, что будет проверка пути и сварка. Я записала. До сих пор не прошла.

Игнатьев поднял голову.

— Не прошла?

— Она бы прошла через переезд. Переезд закрыт, шлагбаум поднят, я бы её видела. Никакой машины не было.

— То есть вам позвонили и сказали про машину, которой не будет?

— Мне позвонили и сказали, что она будет, — сказала Нина. — Я дежурная, я не проверяю, зачем звонят. Я записываю, что передали.

Игнатьев посмотрел на неё, и в этом взгляде впервые за ночь появилось что-то кроме усталости.

— Кто звонил?

— Дежурный по станции. Женщина, Тома. Тамара Петровна. Она передала и сказала: «мне так передали».

— Кто передал?

— Она скажет, — сказала Нина. — Она в ночь одна и на телефоне. Спросите её, пока не сменилась.

Игнатьев ушёл к машине звонить, а Кабанова продолжала работать и разговаривать с Ниной так, как разговаривают с человеком, который не мешает.

— Кто он? — спросила она.

— Веретенников. Мастер дистанции. Он тут тридцать четыре года.

— Родня есть?

— Жена умерла. Сын в городе. Я не знаю.

— А почему вы к нему пошли, а не позвонили?

— Я позвонила, — сказала Нина. — В диспетчерскую. Там Тома.

Кабанова кивнула и больше ничего не спросила.

Потом она сказала:

— Следы посмотрите. Вот эти, валенки, сорок три. И вот эти, тоже валенки, сорок три, но мельче шаг. Это вы шли.

— Я.

— А где его следы?

Нина посмотрела на снег. Снег был ровный, и на нём были две цепочки: её, от переезда, и вторая — тоже её, обратно. И больше ничего.

— Вот, — сказала Кабанова. — А он сюда пришёл. У него на валенках снег набился, а дорожки нет.

— Метёт, — сказала Нина. — С одиннадцати метёт. Заметает.

— Заметает, — согласилась Кабанова. — Только под ним не заметено. Под ним — сугроб ровный, потому что он лежит с одиннадцати.

— Значит, он пришёл до одиннадцати?

— Или приехал, — сказала Кабанова. — Машиной. Машина следов не оставляет, если ехать по дороге, а дорога — вон она, в двадцати метрах, и от неё натоптано. Вон там, у водостока, видите? Два следа от ботинок и один от валенка, и дальше они обрываются, потому что там лёд.

Нина смотрела в темноту за лучом лампы и видела только снег, но кивнула, потому что верить Кабановой было легче, чем своим глазам.

Игнатьев вернулся через двадцать минут.

— Так, — сказал он. — Телефонограмма есть. В двадцать три ноль семь дежурный по станции приняла телефо-

нограмму: «На сорок первом километре производство работ по сварке стыка, путь закрыт с ноль сорок до трёх десять, прошу передать на переезд». Подписана — «инженер дистанции Гурьев».

Нина стояла и слушала, и фамилия легла в голову как камень в воду: тихо и до самого дна.

— Что такое? — спросил Игнатьев.

— Гурьев у нас заведует кладовой, — сказала Нина. — И зимней смазкой. Он её выписывает по норме и держит в жестянке. Вот такой.

Она показала на ключ, на его тёмную головку.

— Знаете смазку на глаз? — спросил Игнатьев.

— Я выросла на этой смазке, — сказала Нина. — Её не спутаешь. Она не пахнет мазутом, она пахнет мылом и чем-то ещё. И она не смывается.

Игнатьев посмотрел на ключ, на Кабанову, на Нину.

— Хорошо, — сказал он. — Смазку мы проверим.

Он ещё раз обошёл место, посветил вдоль пути и спросил:

— Вы сказали, что видели огни.

— Видела, — сказала Нина. — В стороне сорок второго. Два жёлтых. Как будто человек стоял с двумя фонарями. Я потом вернулась с книгой, посмотреть, и огней уже не было.

— Два фонаря?

— Или один фонарь и что-то блестящее.

Игнатьев кивнул Астахову, и тот пошёл, и его фонарь долго ещё болтался в темноте, как далёкая звезда, а потом погас,

и Астахов вернулся с пустыми руками.

— Ничего, — сказал он. — Снег.

— Снег, — сказал Игнатьев.

В три десять приехал Кузьмин, начальник дистанции. Он был в пуховике поверх пижамной куртки и в ботинках на босу ногу, и, пока шёл от машины, два раза поскользнулся.

— Петрович, — сказал он, увидев Веретенникова, и это было всё, что он сказал за первые пять минут.

Потом он обернулся к Игнатьеву и заговорил быстро, гладко, как человек, который много раз говорил это на совещаниях:

— У нас в дистанции восемь человек на сорок километров. Восемь. В том году у нас ноль происшествий, ноль. Пётр Ильич тридцать четыре года. Он в этом году просил помощника — я писал, мне не дали.

— Он вам что-нибудь говорил в последние дни? — спросил Игнатьев.

— Что он мне говорил? — Кузьмин посмотрел на Нину, потом на Игнатьева. — Он всегда что-нибудь говорил. Он с девяносто второго года что-нибудь говорит.

— Конкретно.

— Конкретно — что наряды не те, — сказал Кузьмин. — Но это он про всех так говорил. Он вообще был человек тяжёлый.

Нина стояла в двух шагах и слышала, как в голосе Кузьмина появилось то, что появляется у людей, когда они уже

решили, что случилось, и теперь подбирают слова под решение.

— Осень, — сказал Кузьмин. — Ну что ты хочешь. Человеку шестьдесят четыре. Он в этом году дважды падал на выходе из вагона.

— Вмятина на затылке, — сказала Кабанова, не поднимая головы. — С ровным краем.

Кузьмин посмотрел на неё, потом на Игнатьева, потом опять на неё.

— У него давление было, — сказал он. — Он мог упасть и удариться.

— Мог, — сказала Кабанова. — Только тогда у него ключ в руке был бы, а ключ лежал в стороне. И ударился бы он тем, обо что ударился, — а рядом ни рельса, ни столба. Он лежит между столбиком и канавой, где ничего нет, кроме снега.

Кузьмин замолчал.

К четырём утра Нину отпустили домой, и она шла по шпалам обратно — мимо будки, мимо переезда, мимо магазина, у которого горела одна лампа, — и думала не про убийство, а про то, где у Веретенникова фонарь.

Он всегда ходил с фонарём: старый, чёрный, с ремешком на руку, потому что в метель без ремешка фонарь улетает. Она видела этот фонарь тысячу раз.

Фонаря при нём не было.

Дома Нина не легла. Она села за стол, расстегнула тулуп, положила перед собой книгу приёма-сдачи — она забрала

её из будки, потому что Игнатьев сказал «книгу отдайте», а она сказала «она моя сменная» и не отдала, — и переписала в отдельную тетрадь всё, что было за эту ночь: время, кто звонил, что передал, кто приехал, что сказал.

Писала она до семи, и последняя запись была такая:

«Фонарь Веретенникова П. И. на месте не найден. Фонарь чёрный, с ремешком, старый. Без фонаря он по шпалам не ходит».

Потом она закрыла тетрадь, положила её под матрас, потому что в доме не было места, где не ищут, и легла спать в пальто, не раздеваясь.

Глава третья. Осень, говорит участковый

Утром в посёлке было три новости, и все три были неправдой.

Первая: мастера убили бомжи, которые живут в теплотрассе за разъездом.

Вторая: мастера убили из-за денег, потому что он получал сто двадцать тысяч и «все знали».

Третья: мастер сам упал, а ключ рядом лежал всегда, потому что он его там в прошлом году забыл.

Нина узнала все три за один поход в магазин, где покупала хлеб, и не сказала ничего, потому что с людьми, у которых есть новость, спорить бесполезно: они уже не новость обсуждают, а себя в ней.

В магазине её остановила Клава Пяткина, стрелочница, которая жила на первом этаже и знала по телефону больше, чем по должности.

— Ниночка, — сказала Клава. — Ты в ночь была?

— Была.

— И что?

— А что говорят?

— Говорят, мастер.

— Мастер, — сказала Нина.

Клава посмотрела на неё внимательно, потом сказала тише:

— К нему с вечера приезжали.

Нина замерла с буханкой в руках.

— Кто?

— Машина, — сказала Клава. — Я в восемь воды из колонки набирала, смотрю — стоит у переезда, за будкой, чёрная. Я ещё подумала: чего стоит, если тут дорога на карьер.

— Чёрная?

— Чёрная и с багажником.

— А кто в ней?

— Я не смотрела, — сказала Клава. — Я воду набирала.

— Клава, — сказала Нина. — Это важно.

— Я знаю, что важно, — сказала Клава, и в голосе у неё было не упрямство, а страх. — Меня вчера в правлении спрашивали. Ты думаешь, мне охота, чтобы меня ещё раз спрашивали?

— Кто спрашивал?

— Кузьмин, — сказала Клава и ушла с очередью, как уходят люди, которые сказали больше, чем хотели.

В одиннадцать Нину вызвали в дистанцию — одноэтажный дом с надписью «Путевая дистанция 7» и с двумя окнами, одно из которых было заклеено плёнкой с прошлой зимы.

Кузьмин сидел за столом, а рядом с ним — Роман Гурьев, в свитере, с ноутбуком, и когда Нина вошла, Гурьев встал и

подал ей стул.

— Нина, садись, — сказал Кузьмин. — Ты как?

— Нормально.

— Ты не подумай, — сказал Кузьмин. — Мы не в чём не виноваты. Мы всё сделали как надо.

— Я ничего не говорю.

— Вот и хорошо, что не говоришь, — сказал Кузьмин, и по тому, как он это сказал, было видно, что он готовил эту фразу давно. — Я тебя вот о чём попросил. У нас с завтрашнего дня переезд — по-другому. Мы тебя переводим на станцию. Дежурной по станции. Оклад выше, смена та же.

Нина посмотрела на него.

— На станцию?

— На станцию, — сказал Кузьмин. — Там Тома в декрет уходит. Ну, не в декрет, но у неё сердце. Ты посидишь, а мы найдём на переезд человека.

— Я дежурила пятнадцать лет.

— Ну и хорошо, — сказал Кузьмин с облегчением, что она не спорит. — И ещё: с книгой там, ну, с книгой приёма-сдачи, ты её сдай. Она ведомственная. Её надо в архив.

— Она моя сменная.

— Нина, — сказал Кузьмин мягко. — У нас умер мастер. Не надо, чтобы ты ещё книгу у себя держала.

Нина смотрела на его руки, и руки у него лежали на столе ровно, как у человека, которому объяснили, как надо.

— А если я не отдам?

Кузьмин вздохнул.

— Тогда я тебе объясню по-другому, — сказал он. — У нас в дистанции нет такого человека, который держит книгу у себя дома. Ты или дежурная, которая пишет, что было, или ты хранитель, которого потом спросят: а почему не сдала?

— Спросят?

— Спросят, — сказал Кузьмин.

Молчал Роман Гурьев. Он сидел, наклонившись над ноутбуком, и пальцы у него ходили по клавишам легко и быстро, как у машинистки.

— Нина, — сказал он, не поднимая головы. — А можно я у тебя в книгу гляну? Мне для отчёта нужно: время работ, кто что передал.

— В отчёте нет книги.

— В отчёте — ничего нет, — сказал Гурьев и улыбнулся. — Отчёт — это форма. А книгу я один раз прочитаю и верну.

— Я лучше майору её отдам, — сказала Нина.

Гурьев поднял голову и посмотрел на неё, и улыбка у него не сбежала, а как-то встала, как будто остановилась.

— Майору — правильно, — сказал он. — Только майор у нас из района, ему ехать две недели, а нам работать сегодня.

— Значит, сегодня без книги, — сказала Нина.

Она вышла из дистанции и в дверях услышала, как Кузьмин сказал Гурьеву:

— Вот же упёртая.

И Гурьев ответил:

— Нормально. Она как Петрович.

Нина не знала, что хуже: то, что её сравнивают с мастером, или то, что Гурьев сказал это с уважением.

Вечером она пошла по шпалам — не на смену, смена была через день, — а просто посмотреть ещё раз днём, при свете, потому что ночью всё было как во сне, а днём это была уже не тайна, а работа.

Снег шёл тихо и мокрый, и шпалы пахли, как пахнут всегда: креозотом и железом.

Она дошла до столбика, постояла, посмотрела на следы, которые уже затоптали и снова присыпали. Потом пошла дальше — к водостоку, о котором говорила Кабанова, — и там, в канаве, под нависшим льдом, что-то чёрное блеснуло.

Нина легла на живот, потому что поднимать не было силы, и рука в тулупе достала это «что-то» не сразу, а с третьей попытки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.